

Д. Якубович

## «ДНЕВНИК» ПУШКИНА

### I

Мемуары, автобиографические записки, дневники были обычным жанром поместно-дворянского круга пушкинской эпохи.

Сам Пушкин вел «вседневные записки» еще в лицее: анекдот, литературное событие, эпиграмма чередовались здесь с интимно-лирической записью, бытовой зарисовкой, творческим самоотчетом...

В кишиневской ссылке двадцатых годов дневниковые записи продолжались. Сохранившиеся листки имеют по нескольку дат за неделю. Дневник обогатился новой тематикой, бреттерской иронией, зрелыми литературными мнениями, получил общественно-политическую насыщенность — имена Ипсиланти, Пестеля, Чаадаева красноречиво говорят с уцелевших листков о круге интересов Пушкина.

Отдельные записи того же рода, лаконические, порою шифрующие значительные встречи, отмечающие памятные события, сохранились и от позднейших лет. Такова зашифрованная запись: «уосРГМКБ. 24», т. е. «услышал о смерти Рылеева, Пестеля, Муравьева-Апостола, Каховского, Бестужева-Рюмина 24 июля 1826 г.»

В так называемой «Родословной Пушкиных и Ганнибалов» Пушкин приоткрыл историю своих дневников, своих автобиографических попыток. Он пишет: «Несколько раз принимался я за ежедневные записки, и всегда отступал я из лени. В 1821 году начал я мою биографию и не-

сколько лет сряду занимался ею. В конце 1825 г., при открытии несчастного заговора я принужден был сжечь свои тетради, которые могли замешать имена многих, а может быть и умножить число жертв. Не могу не сожалеть о их потере (они были бы любопытны): я в них говорил о людях, которые после сделались историческими лицами, с откровенностью дружбы или короткого знакомства. Теперь некоторая торжественность их окружает и, вероятно, будет действовать на мой слог и образ мыслей, за то буду осмотрительнее в моих записках...»

Огненная черта декабрьского восстания, разделившая жизнь Пушкина на две половины, испепелила и его интимные записки. Как предок Ганнибал, по рассказу Пушкина, «в припадке панического страха» сжег свои записки «вместе с другими драгоценными бумагами», так же принужден был поступить, боясь «замешать имена многих, а может быть и умножить число жертв», и сам Пушкин. Записи об исторических лицах, сделанные поэтом «с откровенностью дружбы», — эти тайны документа навек истребил огонь.

Но Пушкин, за эти годы давший царю торжественный обет «хранить свой образ мыслей про себя», не оставил обычая фиксировать летучие впечатления и, если и не научился вполне быть «осмотрительнее» в выборе и характере записи, то явно пробовал конспирировать свои «дневники», пытался создавать шифрованную форму.

Под этим углом зрения только и можно рассматривать все, что осталось у него в этом жанре от более позднего времени. Однако и «осмотрительный», зрелый Пушкин все же остается во многом прежним Пушкиным, и дело исследователей — без буквализма, но и без увлечений скрытым смыслом, читать эти его записки, трезво и тщательно определяя их подлинный удельный вес, их смысл.

Записки 1831 года имеют дневниковую датировку, но это уже не личный дневник. Это — дневник современника

событий, имеющих историческое значение. Такова новая установка Пушкина. И в центре — новый герой и отчетливая новая тема. Герой — государь Николай I, тема — мятеж. Эти элементы останутся неизменными и в позднейших «дневниках».

Царь не может один обуздать мятежа, так же как карантин не могут одни препятствовать распространению холеры — таков вывод, напрашивающийся из записок 1831 г. В самом деле, Пушкин записывает: «Россия имеет 12 000 верст в ширину. Государь не может явиться везде, где может вспыхнуть мятеж», и, в подозрительной смежности, продолжает: «16 губерний вдруг не могут быть оцеплены, а карантин, не подкрепленный достаточной цепью, военной силою — суть только средства к притеснению и причины к общему неудовольствию». Я назвал смежность этих двух записей подозрительной, потому что для Пушкина характерен этот прием шифра: непосредственно за одной записью дать другую, внешне не связанную с первой, но по существу являющуюся ее расшифровкой. Ниже мы увидим и другие примеры того же приема.

Двойной план становится еще яснее и безусловнее при анализе так называемого «Дневника» 1833—1835 гг., дошедшего до нас хоть и не вполне, но все же в виде сплошных масс записей, преимущественно падающих на 1834 год.

## II

У нас существуют два классических ученых издания «Дневника», дающих обширный реальный комментарий<sup>1</sup>. Однако попытки разгадать сущность этого «Дневника», понять пушкинскую целеустремленность — пока не было

<sup>1</sup> Дневник Пушкина, ред. и примеч. Б. Л. Модзалевского, статья П. Е. Щеголева, ГИЗ, 1923; Дневник А. С. Пушкина, ред. и комментарий В. Ф. Саводника, М. Н. Сперанского, Г. П. Георгиевского, ГИЗ, М. 1923.

сделано. Только отдельные вопросы были поставлены П. Е. Щеголевым в его прекрасной вступительной статье к ленинградскому изданию «Дневника». Он хорошо сказал: «Мы должны оправдать надежды, которые Пушкин возлагал на потомство, оставляя ему свой дневник... разгадать настоящие намерения автора».

Кое-какой ценный материал этого рода, собранный до сих пор, совершенно тонет в биографическом комментарии, predetermined необходимостью в первую очередь разъяснить более тысячи собственных имен, в значительной своей части совершенно чуждых нашему времени. Без реального комментария «Дневник» мало понятен. Необходимость же тяжелого аппарата комментариев делает его мало доступным широкому читателю и, в сущности говоря, скрывает его подлинную телеологию. Нельзя сказать, что пушкинский «Дневник» читается у нас, и еще менее, что он понят, что он укладывается как-то в систему и произведений Пушкина и его взглядов. Специальных исследований, посвященных «Дневнику», нет вовсе за исключением вступительных статей к поименованным выше изданиям. Не используется он и в общих работах по Пушкину. Старый взгляд, что Пушкин давал дневник придворных сплетен, еще господствует.

Прежде всего должно поставить вопрос о самом жанре, необходимый для уяснения пушкинского замысла. Под «Дневником» обычно разумеются поденные записи о всем в личной и общественной жизни, заслуживающем внимания и закрепления с точки зрения автора, — записи, ведущиеся систематически непосредственно по живым впечатлениям, или же через некоторый промежуток времени. Непосредственность, а не преднамеренность, в какой-то мере характерна для обычного дневника.

Можно ли сказать, что так называемый «Дневник» Пушкина строго отвечает этому определению? Сам Пушкин не употреблял этого слова.

«Дневник» Пушкина — совершенно своеобразная стра-

ница в истории Пушкина-мемуариста, Пушкина- историка.<sup>1</sup> Дневниковая и эпистолярная практика, интерес эпохи к запискам, к историческому анекдоту и личный интерес Пушкина к историческим жанрам создали эту особую, только Пушкину присущую литературную форму социально-острых записок о *современности*, в центре которых (это-то обычно и заставляет считать их простым дневником) действует сам автор. В сущности говоря, подобные же записки, столь же порой социально насыщенные, но записки о *прошлом* и не объединенные личностью автора, представляют собой пушкинские анекдоты и «Застольные разговоры» (Table-Talk). Многие из них кажутся листами, вырванными из «Дневника»; многое из «Дневника» могло бы войти в жанр «Рассказов Загряжской» (напр., запись 4 декабря 1833 года) и «замечаний» (напр., анекдот об Екатерине, записанный 7 января, анекдоты Полетики, записанные 21 мая, рассказ о Трощинском, записанный 9 августа 1834 г.).

Так называемый «Дневник» — прежде всего, разнороден, он представляет собой датированные записки на разные темы, но менее всего то, что называется личным дневником интимного характера. Кстати: даже родственное в некоторой мере по жанру «Путешествие в Арзерум» определено Пушкиным как «Путевые записки».

В этом смысле большинство писем Пушкина, особенно его интимных и дружеских писем, вытянутых в одну хронологическую линию, может быть с гораздо большим основанием названо подлинным дневником поэта. Достаточно для этого сблизить с «Дневником» 1833—1835 гг. письма Пушкина за этот же период.

Пушкинского заглавия этой совершенно белой рукописи не сохранилось. Опись бумаг Пушкина, составлен-

---

<sup>1</sup> Материал этого рода обстоятельно собран в предисловии Б. Л. Модзалевского к ленинградскому изданию «Дневника», См. стр. II—IV.

ная после его смерти, именуется рукопись «Журналом»<sup>1</sup>. Вероятнее всего, здесь сказалась устная традиция, через Жуковского ведущая к самому Пушкину. Тот же термин употребляет и его товарищ М. Л. Яковлев. Сын поэта А. А. Пушкин говорит о «записках». П. И. Бартенев — о «памятной книжке». Позже утвердилось название «Дневник». Можем пользоваться этим последним, ставя его всюду в кавычках. Как увидим, Пушкин менее всего был занят обычными дневниковыми записями. В действительности его интересовал прежде всего *отбор* материала, *подбор* фактов, за которым лежала определенная объединяющая их идея.

Разобраться в целях и характере этого выбора не всегда легко: эзоповский язык и осмотрительный стиль дешифрируются не всегда полно, иногда вовсе не дешифрируются. Но не подлежит сомнению, что этот пушкинский документ, с надписью «№ 2», — меньше всего простой дневник, писанный, как думали до сих пор, «*sine ira et studio*»...

Необходимо обратить внимание прежде всего уже на внешний вид «Дневника». Другие большие рукописи Пушкина представляют собой либо записные книжки, либо тетради переплетенные, или без переплета, либо альбомы, куда не только день за днем, но иной раз год за годом заносил Пушкин факты своей творческой жизни (в черновых рукописях обычно в перемежку с материалами быта и рисунками). Ничего подобного не находим в рукописи «Дневника». По внешнему виду ее скорей можно сравнить с белой парадной рукописью Пушкина, какие делал он для царя, для цензуры, для печати. Ничто не обличает здесь той непосредственно-интимной черновой манеры, которая характерна для подлинных дневников или для избыточных зачеркиваниями, переделками, исправлениями чер-

---

<sup>1</sup> Употребление Пушкиным этого слова см. в его письме к жене от 21 сентября 1835 г.

новых писем. Черновая стадия здесь пройдена, дан (если не считать сокращений в именах) только взвешенный беловик, с которым Пушкин хочет выступить перед кем-то, выступить с определенной целью...

Вдобавок к этому рукопись «Дневника» совершенно необычно заключена в переплет с замочком, т. е. представляет собою нечто вроде запирающегося портфеля<sup>1</sup>.

После смерти Пушкина, когда все его рукописи, и в том числе «Дневник», были пронумерованы жандармами на его последней петербургской квартире, «Дневник» был возвращен семье поэта и, никому недоступный, хранился у его вдовы, а позже рукопись перешла к старшему сыну Пушкина, который также «бережно и ревниво хранил ее у себя в кабинете под замком»<sup>2</sup>, даже тогда, когда все остальные рукописи были переданы им Румянцевскому музею.

Таким образом, очевидно, не случайно отбившийся от остальных рукописей Пушкина, «Дневник» до самой смерти А. А. Пушкина оставался в его руках и только после революции стал общественным достоянием.

Следует обратить внимание и на то обстоятельство, что вскоре после смерти поэта его товарищ Яковлев писал одному из своих друзей: «Журнал Пушкина действительно я имею, но пересылать тебе его для прочтения не нахожу удобства, потому что пересылка обойдется слишком дорого». «Слишком дорого» могло обойтись и напечатание «Дневника», чем и объясняется, что до 1910 года полный текст его был неизвестен, а с комментариями он смог появиться лишь в 1923 году.

Уже одна совокупность указанных обстоятельств за-

---

<sup>1</sup> Представление о внешнем виде его дает снимок, помещенный в журнале «Нива» за 1913 г., № 41 (заметка «Пушкинские реликвии»).

<sup>2</sup> «Художественная жизнь», 1920, № 3, март-апрель, стр. 40; в указанной заметке «Нивы» сказано: «У себя Александр Александрович оставил дневник, особо переданный ему матерью.»

ставляет исследователя «Дневника», так сказать, «настроиться». Но перейдем к содержанию «Дневника».

Перелистывая эти записи, будем останавливаться главным образом на недостаточно разъясненных или совсем не разъясненных местах.

Количественно меньшая часть «Дневника» относится к 1833 году. Следует подчеркнуть, что начало (8 страниц тетради) вырвано, и можно полагать, что сам Пушкин, или после его смерти его близкие, боялись сохранить начальные записи этой тетради, которые, вероятно, должны были касаться первой половины ноября 1833 г., т. е. времени приезда Пушкина из Болдина в Москву и его первых впечатлений в ней и в Петербурге.

Почти каждая страница и, во всяком случае, большинство записей этой избранной хроники звучат сатирически, полны скрытого, но раскрываемого презрения. Они зовут к бесповоротному суду потомков.

В первой же сохранившейся записи Пушкин не боится произнести запретное имя: вспомнить о своей встрече в Кишиневе с Пестелем. Казненный вождь декабристов, о котором Пушкин некогда записал: «Мы с ним имели разговор метафизический (т. е. философский, Д. Я.), политический, нравственный и проч. Он один из самых оригинальных умов, которых я знаю», — Пестель представлен теперь, в 1833 году, как сподвижник Александра I, якобы компрометировавший в свое время в глазах царя греческих повстанцев, чего в действительности не было.

Таким образом, имя Пестеля остроумно утверждено в «Дневнике». Смежная запись о генерале Сухозанете — быть может, не случайный переход от декабристской темы. Сухозанет картечью расстреливал декабристов. В 1833 г. он получил новое назначение, отмечаемое Пушкиным. Было бы непонятно, для чего отмечает это малое событие Пушкин, если бы фигура генерала не была подчеркнута в своей отрицательности французским намеком на противоестественный порок Сухозанета.



Непосредственно дальше Пушкин косвенно протестует против государственных трат на прихоть царя: дорогие дамские мундиры — «особенно в настоящее время, бедное и бедственное». Пушкин не говорит, что думал он сам по этим поводам на обеде у Энгельгарда, но прибегает к хитрой формуле, которую будет употреблять и впредь, а именно к третьему лицу: «осуждают», «кто-то сказал».

Следующий день открывается той же защитной формулой: «Три вещи осуждаются вообще — и по справедливости», и дальше расшифрован мерзкий облик Сухозанета, с внешней попыткой выгородить государя, вновь осуждены «дамские мундиры» и категорически осуждена тактика царя, лично заступившегося за вора-дворянина, гвардейского офицера, фон-Бринкена, дело которого царь передал особому суду. В последнем пункте Пушкин чувствует возможность быть более смелым, опираясь на имеющиеся законы: «Прилично ли государю вмешиваться в обыкновенный ход судопроизводства? Или нет у нас законов на воровство?» Замечателен лаконический, полный умолчаний финал этой записи: «Конечно со стороны государя есть что-то рыцарское, но государь не рыцарь... Или хочет он сделать опять из гвардии то что была она прежде? Поздно». И в следующих записях Пушкин останавливается на «упадке гвардии».

В памятный день 14 декабря Пушкин по возможности бесстрастно заносит в «Дневник» личную обиду на то, что царем «вымараны» многие стихи «Медного Всадника»; он не протестует, не восклицает: Нет. Мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафаэля, — он только сухо, но решительно замечает: «все это делает мне большую разницу. Я вынужден был переменить условия со Смирдиным». Такова эта единственная лаконичная жалоба Пушкина потомству на то, что его поэма осталась ненапечатанной при жизни поэта.

Но зато в соседних записях Пушкин не выдерживает летописного тона и раздражается обличительной, клеймя-

щей филиппикой по поводу лиц стоящих «у трона»: «Кочубей и Нессельроде получили по 200 000 на прокормление своих голодных крестьян — эти четыреста тысяч останутся в их карманах. В голодный год должно стараться о снискании работ и об уменьшении цен на хлеб... В обществе ропщут, — а у Нессельроде и Кочубей будут балы...»<sup>1</sup>

Действительно, на другой же день отмечен бал у Кочубея. Зато вскользь указано: «Вчера не было обыкновенного бала при дворе». Этим Пушкин своеобразно хотел остановить внимание будущего читателя на том обстоятельстве, что в день подавления декабрьского восстания царь традиционно задавал балы в Аничковом дворце. 1833 год заканчивается намеками более общими: анекдотом о дворцовой мебели, на всякий случай приписанным какому-то «N», и ироническим выпадом против полиции, которая «видна занимается политикой, а не ворами и мостовой».

Важнейшим в жизни Пушкина событием 1834 года была обида на «пожалование» его камер-юнкерством. В течение первых трех месяцев Пушкин особенно остро переживал ее и только постепенно стал убеждать себя: «государь верно думал о моем чине, а не о моих летах — и верно не думал уж меня кольнуть», но в первый день нового года Пушкин был взбешен, и его запись в этот день дает нам некий ключ и к пониманию «Дневника». Новогодний подарок царя, ставивший знаменитого поэта в униженно-смешное положение — в один ряд в чиновничьей лестнице с «молокососами», великосветскими бездельниками, — Пушкин, в лучшем случае, мог рассматривать как вопиющую бестактность. Но подозрительность его в этот момент дошла до последней черты — светская усмешка должна была ему чудиться повсюду. Н. О. Пушкина кон-

<sup>1</sup> С этой записью следует сопоставить также запись от 17 марта следующего, т. е. 1834 года: «Вероятно купечество даст также свой бал. Праздников будет на пол-миллиона. Что скажет народ умирающий с голода?»

стативирует неожиданность события для своего сына; Вяземский потрясен: «Александр Пушкин, поэт Пушкин — теперь камер-юнкер Пушкин». Приятель Пушкина — Алексей Вульф почти через два месяца записывает: «Самого поэта я нашел... сильно негодующим на царя за то, что он одел его в мундир, его, написавшего теперь повествование о бунте Пугачева и несколько новых русских сказок. Он говорит, что он возвращается к оппозиции...»

Один из официальных свидетелей — Вюртемберский посланник также сообщал, что Пушкин «вновь переходит к принципам оппозиции»<sup>1</sup>.

Во всяком случае «рана» была велика, заживала не скоро, тем более, что за обидным неотвязным мундиром стоял еще мучительный вопрос о необходимом привлечении ко двору не только его, уже научившегося ломать себя, но и юной, стремящейся к блеску этого двора Натальи Николаевны.

### III

Никто еще не попробовал до сих пор расшифровать пушкинской записи, открывающей 1834 год: «Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры — (что довольно непри-

<sup>1</sup> Любопытно что, в то время как пожалованный одновременно с Пушкиным Реймер имел чин коллежского ассесора, Пушкин был всего лишь титулярным советником. Возможно, что и в этом Пушкин видел для себя лишний, намеренно сделанный укол. Ведь еще в июле 1831 года Пушкин писал Бенкендорфу: «... Мне следовало за выслугу лет еще два чина, т. е. титулярного и коллежского ассесора, но бывшие мои начальники забывали о моем представлении. Не знаю, можно ли мне будет получить то, что мне следовало». (Переписка Пушкина, ред. В. И. Саитова, т. II, стр. 278). Еще в мае 1830 г. Пушкин писал Хитрову: «... Очень любезно, что Вы принимаете участие в моем положении по отношению к Хозяину. Но какое же место, по Вашему, я могу занять при нем? Я по крайней мере не вижу ни одного, которое могло бы мне подойти. У меня отвращение к делам и *des boumagui*, как говорит гр. Ланжерон. Быть камер-юнкером в моем возрасте уже поздно. Да и что я стал бы делать при дворе? Ни мои средства, ни мои занятия не позволяют мне этого».

лично моим летам). Но двору хотелось, чтобы N. N. танцовала в Аничкове. Так я же сделаюсь русским Dangeau».

Последняя фраза долго бессмысленно читалась у нас: «Так я же сделаюсь русским Дон-Жуаном». В настоящее время комментаторы так объясняют эту фразу: «... Пушкин, как он сам говорит иронически, решил стать «русским Dangeau», т. е. мемуаристом придворного стиля» (М. Н. Сперанский). Другой комментатор (В. Ф. Саводник) говорит о «Дневнике», который вел Данжо: «В этом дневнике он почти не касается вопросов политических и общественных, в широком смысле слова: все внимание его сосредоточено на изображении придворной жизни, празднеств, церемоний и т. д. Данжо заносил эти сведения на страницы своего дневника день за днем, с чисто протокольной точностью, сжатостью и беспристрастием, почти не сопровождая их никакими комментариями».

Приблизительно так же комментировал это место «Дневника» и Б. Л. Модзалевский: „Он (Данжо) день за днем вносил все, что происходило при дворе и в королевском семействе. Несмотря на стиль записей, краткость, мелочные подробности и повторения, — это наиболее ценный документ о частной жизни Людовика XIV, неисчерпаемый источник разных указаний».

П. Е. Щеголев вовсе обошел вопрос о Пушкине-Данжо.

Таким образом, из этих комментариев неволью создавалось впечатление, будто Пушкин собирался в 1834 году сделаться беспристрастным протоколистом дворцовой жизни — больше ничего.

Считая этот вопрос важным, решенным неверно, я нахожу нужным в подробностях задержаться на нем для полного выяснения пушкинских слов, т. е. того угла зрения, под которым в действительности писался «Дневник».

Комментаторами правильно установлено, что Пушкин имел в виду маркиза де Данжо (1638—1720), французского мемуариста при дворе Людовика XIV, игравшего роль вельможи, дипломата, ученого, писателя, оставившего свой

«Журнал» (1684—1720), изданный в отрывках Вольтером, Жанлис, Лемонтэ и более полно — в 1830 г. Последнее четырехтомное издание («Мемуары и Журнал маркиза де Данжо, изданные впервые по подлинным рукописям с примечаниями герцога де Сен-Симона») Пушкин имел в своей личной библиотеке (первые два тома разрезаны, в третьем разрезаны 105 страниц, последний том — не разрезан). Также имел Пушкин и упомянутое издание Лемонтэ. Это № 1089 — «Очерк учреждения монархии Людовика XIV... предшествуемый новыми мемуарами Данжо»... Париж, 1818. Предисловие начинается здесь с оценки издания Жанлис и характеризует «тривиальные, или бесполезные предметы, которыми изобилует Журнал маркиза де Данжо», говорит, что «низость мелочей и плоскость стиля в нем постоянно скрывают курьезные и значительные факты, которых тщетно ищешь у других».

Эти характеристики, таким образом, были прекрасно знакомы Пушкину.

Обратимся к другим книгам его библиотеки и, прежде всего, непосредственно к «Журналу» того автора, которого он назвал своим образцом. Четыре зеленые томика Данжо представляют собою действительно методически ведущийся день за днем рассказ о придворной жизни Людовика XIV, достигшего вершины славы. Сухо, лаконично, без видимого отбора фактов, излагаются мелочи придворной жизни, в которых тонут упоминания о смерти Корнеля, или о том, что король много смеялся на представлении «Мещанина во дворянстве». Автор-регистратор автоматически отмечает состояние желудка короля, его прогулки с дамами, его поездки верхом. Записи обыкновенно начинаются монотонным: «король сказал», «король завтракал», «король гулял», и бессодержательность королевской жизни, каждый шаг которой подстережен записывающим механизмом, в совокупности слагается в яркую, почти сатирической силы обличительную картину ничтожества, пустоты, убожества всех этих каруселей, столов,

накрытых на столько-то кувертов, пенсий, даваемых придворным дамам, списков лиц, удостоившихся аудиенции, и снова описаний того, что ел король, до которого часу гулял в саду при луне, при какой погоде ездил верхом, сколько дам было за столом и какая играла музыка и так до бесконечности, месяцы, годы.

Читать «Журнал» Данжо сейчас почти невозможно. Но значение потрясающего документа именно потому в нем запечатлено неоспоримо. Он красноречив, как в нашу эпоху собрание бесцветных речей Николая II.

Уже издатели его в 1830 г. подчеркивали в предисловии:

«Эта манера ~~истории~~ en gazette должна быть отмечена особо как материалы полезные для будущего историка; это камни, неотесанные в каменоломне: они должны быть препарированы, прежде чем употребляться; постройка будет потом».

«Мемуары-журналы имеют также свои недостатки и свои достоинства: люди и вещи в них видятся слишком вблизи и редко с высоты; но эти ложные суждения почти всегда разбиваются временем и современное пристрастие падает перед истиной»... «Воспоминания маркиза Данжо более исторические, чем литературные». Вот эту своеобразную обличительную силу, скрытую в «Журнале» Данжо, оставшемся потомкам, очевидно, и имел в виду Пушкин, сам писавший «в пользу будущего Вальтер-Скотта». Но Пушкин — не Данжо, и его «журнал» оказался сатирой совершенно иного рода. Перехожу к другим неизвестным материалам, освещающим вопрос о Пушкине и Данжо.

В библиотеке Пушкина имеется еще одна книга, представляющая интерес с этой точки зрения. Это — «Мемуары герцога де Сен-Симона» (№ 1345) в издании 1826 г. Здесь, как отметил в свое время Б. Л. Модзалевский в своем описании библиотеки Пушкина, в томе I, разрезанном до страницы 297, лежит между стр. 274—275 оумажная закладка — отрывок из письма Елиз. Мих. Хит-

рово со словами: «Ma très chère, Doly est uni...», а на обороте рукою Пушкина написано несколько цифр.

До сих пор, однако, не было обращено внимания на то, какое именно место заложил Пушкин. Между тем, это место — из главы, носящей подзаголовок: «1696. Данжо, кавалер особых поручений при короле, дядька Монсиньора (т. е. Ришелье), придворный кавалер госпожи герцогини Бургонской», (стр. 272—276). Здесь Пушкин нашел трактовку Данжо как третировавшейся фигуры, угождавшей любовницам короля, как посредственности, писавшей плохие стихи, но отличавшейся галантной внешностью.

Здесь же рассказывается, что у супруги дофина была фрейлина «прекрасная как день, стройная как нимфа» и безупречной добродетели. Она нравилась королю и г-же Ментенон. Данжо хотел жениться на ней, но она решительно воспротивилась этому. Король и вельможи вмешались. Она согласилась.

Этим рассказом еще более подчеркнута ничтожность Данжо в глазах короля, интересующегося его красавицей-женой. Далее Данжо характеризуется как постоянный предмет всеобщих насмешек («невозможно помешать ни любить его, ни насмеяться над ним»). Почести и титулы, которые ему дает король, превращают его в «обезьяну короля», весь двор потешается над ним, а он полагает, что им восхищаются. Но жена его делается первой придворной дамой, а госпожа Ментенон, видимо, двусмысленно одобряет ее «брак по вкусу короля, брак, в котором она жила как ангел». Вскользь Данжо характеризуется как автор боязливого (*timide*) хронологического изложения общественных дворцовых событий<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Неоднократные ссылки на «Журнал» Данжо Пушкин находил еще в книге своей библиотеки (№ 1229) «Mémoires, fragments historiques et correspondance de Madame la Duchesse d'Orléans». 1832—1833, стр. 87, 180, 182, 278—287, 326, 375, 382. На книге Пушкин надписал карандашом свою фамилию. Он нашел здесь сведения и о жене Данжо (глава «Maintenon»).

Так вот почему заложил Пушкин закладкой эту характеристику, вот почему записал в своем «Журнале»: «Двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала в Аничкове. Так я же сделаюсь русским Данжо». Это звучит как угроза, это почти повторение «ужо тебе», которым грозит царю за раздавленную любовь несчастный Евгений «Медного Всадника».

Камер-юнкерство было воспринято как будущий источник насмешек. А, так вы смотрите на меня, как на ничтожного Данжо, неразборчивую преданность которого можно купить любым, хотя бы и смешным титулом, а красавицу-жену которого можно заставить плясать во дворе на ролях первой придворной дамы? Хорошо же, я буду посмешищем-Данжо, но вы увидите, что я сделаюсь русским Данжо!

Такова новая форма оппозиции Пушкина.

#### IV

Именно так, мне кажется, надо рассматривать угрозу взбешенного Пушкина по поводу его «пожалования», под этим углом зрения анализировать его уже и до этого момента осторожный, взвешенный в каждой записи, имеющий свою цель «Журнал». Думается, в этой же связи следует рассматривать и следующую непосредственно за тирадой о Данжо запись: «Скоро по городу разнесутся толки о семейных ссорах Безобразова с молодою своею женою. Он ревнив до безумия. Дело доходило не раз до драки и даже до ножа. — Он прогнал всех своих людей, не доверяя никому. Третьего дня она решилась броситься к ногам государыни, прося развода или чего-то подобного. Государь очень сердит. Безобразов под арестом. Он кажется сошел с ума». Неясным оставил Пушкин (не разъяснили этого и комментаторы) только один ряд вопросов: к кому ревнует столь бешено флигель-адъютант



Безобразов свою жену-фрейлину и *почему* очень сердит государь, почему пришлось вмешивать в дело царицу. Между тем в ответах на эти вопросы весь смысл записи, внезапно вкрапленной *между двумя* автобиографическими записями о камер-юнкерстве, об отношении царя к Пушкину.

Дело, конечно, в том, что Пушкин вновь пользуется приемом расшифровки своих мыслей смежным эпизодом. Флигель-адъютант Безобразов ревновал красавицу-жену к Николаю Павловичу, ухаживающему по созданной им традиции за той, кого он сделал фрейлиной и которую сам недавно выдал за Безобразова<sup>1</sup>. Отсюда понятны и бессильное бешенство Безобразова перед могучим соперником, и его попытка апеллировать к царице, и гнев царя, кончившийся арестом Безобразова и его ссылкой на Кавказ<sup>2</sup>.

Но, вкрапывая этот эпизод в ткань повествования о себе в роли Данжо, о том, что «двору хотелось, чтобы N. N. танцевала в Аничкове», Пушкин, конечно, не просто передает городскую сплетню, но явно намекает, что подобная история ревности может повториться и в другом случае<sup>3</sup>.

Что касается до камер-юнкерства, то Пушкин подчеркивает, что в первую же свою встречу с Николаем оба они не говорили ни слова на эту тему. Царь предпочитал осведомляться о впечатлении, произведенном на поэта, через третьих лиц.

Постепенно Пушкин начинает верить (или убеждать себя), что намеренного оскорбления не было. Вдобавок, внимание его отвлечено разрешением издавать «Пугачева»,

---

<sup>1</sup> Ср. статью Н. А. Добролюбова «Разврат Николая Павловича и его приближенных любимцев» с комментарием М. А. Цявловского («Голос минувшего», 1922, № 1, стр. 64-68).

<sup>2</sup> Брат Безобразовой писал даже по этому поводу резкое письмо Николаю.

<sup>3</sup> В той же смежности запись о Безобразовых и запись о камер-юнкерстве повторена Пушкиным еще раз (7 января).



*lib.pushkinskiydom.ru*



и он даже готов на радостях признать царские замечания «дельными». При этом по записи Пушкина выходит так, что царь до середины января 1834 г. не знал об исторической работе Пушкина. Но зато начинаются постоянно раздражающие поэта столкновения с царем из-за этикета в одежде, — все эти недоразумения с формой шляпы, мундира, фрака, сапог, которые фактически делали его пребывание при дворе невыносимым и ставили поэта в зависимое положение ученика, которому всегда могут сделать выговор и «головомытье» за «промахи» «противу Этикета».

В этой нервирующей атмосфере, когда Пушкин готов лучше идти навстречу крупной неприятности, вовсе не являясь ко двору, чем терпеть систематические уколы, — бросается в глаза, что «Журнал» Пушкина, скользя по незначительным событиям светской жизни, настойчиво отмечает явления, связанные с двумя попрежнему интересующими поэта датами. Одна из этих дат — 11 марта — убийство Павла. Вторая — 14 декабря.

Вот, отмечается, что «на бале явился цареубийца Скарятин» (по преданию, задушивший Павла), что Жуковский поймал «цареубийцу Скарятина и заставил его рассказывать 11-е марта», причем Пушкин подчеркивает, что Николай Павлович застал этот разговор, «застал наставника своего сына дружелюбно беседующего с убийцею его отца. Скарятин снял с себя шарф, прекративший жизнь Павла I-го».

Далее записаны слова Аракчеева о другом из прикосновенных к убийству Павла (Уварове), на похоронах которого присутствовал Николай I: «Один царь здесь его провожает, каково-то другой там его встретит», сказал Аракчеев, и Пушкин раскрывает фальшивое положение, в которое поставлены Романовы, замечая в скобках: «Уваров один из цареубийц 11 марта». Сам Пушкин 17 марта разговорился «об 11-м марте»; 2-го июня он записал: «Говорили много о Павле I, романтическом нашем импера-

торе». Моменту «перемены, происшедшей в государстве», посвящена и запись 9 августа.

Записи, связанные с воспоминаниями 14 декабря, которые Пушкин хочет оставить потомкам, сделаны с сугубой осторожностью. Так, отмечено, чем занимался царь «13 июля 1826 г.», т. е. в момент казни декабристов. Оказывается, Николай забавлялся в это время с собакой, бросая ей в воду платок. Ему сказали «что-то на ухо», «царь бросил и собаку и платок и побежал во дворец». Но Пушкин показывает, что запись сделана им не случайно: «Фрейлина подняла платок в память исторического дня». Загадочной остается запись, несомненно, однако, связанная с тем же 14 декабря: «Государь не любит Аракчеева. Это изверг, говорил он в 1825 году (*поработав с ним и возвращаясь к императрице в совершенно беспорядочном костюме*)». Легко представить себе, какова была эта совместная работа с извергом, — словно хочет намекнуть этой по-французски сделанной записью Пушкин.

Тема 11 марта скрещивается с темой 14 декабря в записи 17 марта 1834 года, где Пушкин достаточно непочтительно отзываясь о Романовых — предшественниках Николая. Прежде всего отмечается «странность» Александра I, который «окружен был убийцами своего отца. Вот причина, почему при жизни его никогда не было бы суда над молодыми заговорщиками, погибшими 14 декабря. Он услышал бы слишком жестокие истины». Нотабеной, сделанной в этом месте, Пушкин подчеркивает связанность Александра I участием в заговоре против Павла и продолжает: «Государь ныне царствующий первый у нас имел право и возможность казнить цареубийц, или помышления о цареубийстве. Его предшественники принуждены были терпеть и прощать». Фразу Пушкина можно понять и так: раньше не казнили подлинных цареубийц, даже приближали их к трону, а Николай казнил за одни помышления.

Запись от 11 апреля также возвращает читателя пушкинского «Журнала» к годовщине 14 декабря, но уже в

связи с польскими событиями. Французская выписка из журнала, приведенная Пушкиным, — возражение польскому историку и революционеру эмигранту Лелевелю. Лелевель пытался разъяснить в годовщину декабрьского восстания настроения русской молодежи недавнего прошлого и в связи с «поступательным развитием революционного принципа в России» цитировал ложно приписывавшиеся Пушкину революционные стихотворения и говорил об его ссылке. Так как Пушкину уже приходилось доказывать в свое время русскому правительству, что стихи эти ему не принадлежат, то цитата польского патриота была ему неприятна, как и упоминание об его ссылке. В частном письме Строганову Пушкин прямо воскликнул: «С грустью искупаю химеры моей юности. Объятия Лелевеля кажутся мне суровее ссылки в Сибирь».

С другой стороны «защита» франкфуртского журнала, сообщавшего, что истинные взгляды Пушкина высказаны в «Клеветниках России» и что сам Пушкин вовсе не в ссылке, а «живет в Петербурге» и «его часто видят при дворе, причем он пользуется милостью и благоволением своего государя», — эта защита также не могла не раздражить Пушкина.

Характерно, что Пушкин ввел данный эпизод в свой «Журнал» безо всякого комментария. Характерно, что он вообще оставил его без «ответов», как предполагал первоначально<sup>1</sup>. Трудно сказать, почему этого не произошло, но, во всяком случае, ни в «Журнале», ни в другом месте Пушкин не нашел нужным протестовать против напоминаний о своем прошлом, не считал нужным отмежевываться от него и от Лелевеля<sup>2</sup>.

Группа записей, связанных так или иначе с 14 декабря, венчается замечательным разговором с великим князем.

---

<sup>1</sup> Переписка Пушкина, ред. В. И. Саятова, т. III, стр. 96.

<sup>2</sup> Быть может, в связи с данным эпизодом находится стихотворный набросок «Ты просвещением свой разум просветил».

Пушкин произносит: «Кто были на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько ж их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется много». Таким образом самый факт, что «новое возмущение» *будет*, для Пушкина не подлежит сомнению. Мысли о 14 декабря и в 1834 году непрестанно его волнуют. Вспомним также, что поэт именно в мае этого года с неизменной внимательностью заботится об официальной пересылке своих сочинений другу-декабристу В. К. Кюхельбекеру.

Большая группа записей подчеркивает в свою очередь, так сказать, «промахи» царя и его окружения. Кроме уже указанных, сюда надо отнести запись (14 апреля) о выборе в представительницы петербургского дворянства двух «неблагопристойных дам» и вывод, в котором чувствуется пренебрежительная гримаса Пушкина: «Надобно признаться что мы в благопристойности общественной не очень тверды».

Дважды порицает Пушкин указ, запрещающий русским подданным пребывать в чужих краях. Пушкин видит в нем «явное нарушение права, данного дворянству Петром III», а допущение исключений из этого указа, по его мнению, делает его «одной из бесчисленных пустых мер, принимаемых ежедневно к досаде благомыслящих людей и ко вреду правительства».

По поводу смерти князя Кочубея, которого Пушкин характеризует как «ничтожного человека», он рядом лаконично прибавляет: «Государь был неутешен». Даже больше: приведя презрительную эпиграмму на Кочубея и согласясь с нею, он вынужден тревожно прибавить: «но эпиграмму припишут мне, и правительство опять на меня надуется».

В записи 5 декабря он начинает «злословить» о том, что царь мало занимался старыми сенаторами, ухаживая более за молодыми княгинями, что царь ходит за кулисы, разговаривает на сцене с актрисами. Переодевание кн. Голицына ради должности полицейского сыщика вызывает восклицание Пушкина: «В каком веке мы живем!» По

поводу неожиданной суровости царя к новгородскому дворянству он лукаво замечает: «Оно перетрусилось и не знало за что (ни я)».

Близки по тону и записи 1835 года, где прямо в качестве «замечания для потомства» приведены сообщения о шутовских придворных переодеваниях и переодевании самого государя полковником. Это вызывает недвусмысленный комментарий: «Находят это все неприличным».

Новый припадок ярости со стороны Пушкина вызвала в 1834 г. история с распечатыванием почтой его письма к жене. Этот эпизод Пушкин внес целиком на страницы своего «Журнала» (10 мая). В перехваченном письме к Наталье Николаевне Пушкин непринужденно описывал церемонию присяги наследника (будущего Александра II) по поводу его совершеннолетия, указывая между прочим: «рапортуюсь больным и боюсь царя встретить. Все эти праздники просижу дома. К наследнику являться с поздравлениями и приветствиями не намерен: царствие его впереди, и мне, вероятно, его не видать», а о царе отзывался: «Упек меня в камер-пажи под старость лет». Отмечу кстати: в описании присяги, сделанном в «Дневнике» с чужих слов, любопытны у Пушкина такие фразы: «Многие плакали; а кто не плакал тот отирал сухие глаза, *силясь выжать несколько слез*». Выделенные мною слова приводят на память старое описание из «Бориса Годунова» торжественной сцены на Девичьем поле, где в народе происходит диалог:

Один.

Все плачут.  
Заплачем, брат, и мы.

Другой.

Я силюсь, брат,  
Да не могу.



Первый.

Я также, нет ли луку?  
Потрем глаза.

Второй.

Нет, я слюней помажу.

---

Как бы то ни было, письмо попало «в полицию и далее» вплоть до царя. «Свинство почты» возмутило поэта. Жене он горько пишет: «Зависимость, которую налагаем на себя из честолюбия или из нужды, унижает нас. Теперь они смотрят на меня как на холопа с которым можно им поступать, как им угодно. Опала легче презрения. Я, как Ломоносов, не хочу быть шутлом ниже у господа бога».

Повторяя последнюю фразу и в «Журнале», Пушкин прибавляет здесь несколько фраз, совершенно уже не похожих на робкие записи Данжо: «Однако, какая глубокая безнравственность в привычках нашего правительства. Полиция распечатывает письма мужа к жене и приносят их читать к царю (человеку благопристойному и честному) и царь не стыдится в том признаться — и давать ход интриге достойной Видока и Булгарина. Что ни говори, мудрено быть самодержавным». Эти слова клеймят, и клеймят навсегда. Эвоповский язык разорван. Царь ставится в один ряд с сыщиком и доносчиком. Пушкин является перед потомками Пушкиным.

Нужно, однако, подчеркнуть, что в отзывах Пушкина о Николае Павловиче есть не только сплошная черная краска. Пушкин хочет быть беспристрастным. Он неоднократно, как честный дворянин, пытается увидеть царя честным джентльменом. Он отмечает, что замечания царя бывают дельными, что он «говорит очень хорошо, не смешивая обоих языков, не делая обыкновенных ошибок и употребляя настоящие выражения». Царь дает деньги

взаимы — Пушкин благодарит. Царь «просит в своем обращении, совершенно по домашнему» — Пушкин, видимо, не без удивления отмечает это. Но все эти довольно обыденные положительные качества словно только резче подчеркивают общую оценку: «Кто-то сказал о государе: в нем много от прапорщика и немного от Петра Великого»<sup>1</sup>. Здесь предвосхищена позднейшая характеристика, данная Николаю I А. И. Герценом: «самодержавный экспедитор» и «царь-фельдфебель» («Былое и думы»).

Исключительно интересна запись об открытии Александровской колонны, недостаточно расшифрованная до сих пор. Пушкин задолго до этого дня хотел бежать из Петербурга и, наконец, за 5 дней до открытия колонны уехал, «чтобы не присутствовать при церемонии вместе с камер-юнкерами — моими товарищами». Таким образом, внешне как будто бы в «Журнале» Пушкина момент «церемонии» отсутствует. Присмотримся, однако, к непосредственно следующей записи и увидим, что обе связаны органически, что Пушкин все же высказался о постановке «Александрийского столпа».

Рассказав анекдот о пьяных ямщиках, полагающих, что столп поставлен им в честь, Пушкин неожиданно переходит, как будто невзначай, словно к совсем иной теме: «Гр. Румянцова вообще не хвалят за его памятник — и уверяют, что церковь была бы приличнее. Я довольно с этим согласен. Церковь, а при ней школа, полезнее колонны с орлом и с длинной надписью, которую безграмотный мужик наш даже еще не разберет». Так, говоря о другой колонне, в скрытой форме высказался Пушкин впервые о знаменитом столпе, которому два года спустя смело противопоставил памятник собственных дел с «главою непокорной», к которому «не зарастет народная тропа».

---

<sup>1</sup> П. Е. Щеголевым уже было замечено: «Этот кто-то — конечно, сам Пушкин («Пушкин о Николае I»).

Нельзя не отметить и сходства мнения о том, что «церковь и школа» были бы приличнее и полезнее, с черновиками «Путешествия в Арзерум», в которых Пушкин высказался о большей полезности для темных черкесов самовара, чем евангелия посылаемого «людям не знающим грамоты».

Известное место в «Журнале» занимают исторические записи, компрометирующие Екатерину II, но основная масса записей относится к современности и обнаруживает пошлость, нераспорядительность, продажность николаевского двора. Характерно, что в «Дневнике» Пушкин, таким образом, почти не останавливался на своих действительно «дневных», т. е. личных впечатлениях.

В этом отношении любопытно сравнить «Дневник» с материалами пушкинских писем к жене и друзьям за то же время, являющихся, собственно, подлинным дневником без всяких задних мыслей. Мучительный эпизод с попыткой Пушкина выйти в отставку, бежать от двора здесь встает во всей широте.

Этот случай находит особо яркое освещение в сохранившейся, к счастью, переписке Пушкина с Жуковским.<sup>1</sup> Последний взялся исправить «глупость», допущенную Пушкиным, взял на себя переговоры с царем и услышал, что можно еще взять отставку обратно. Жуковский поспешил сообщить об этом Пушкину, передав и красноречивую фразу-угрозу царя: «если он возьмет отставку, то между мною и им все кончено». При этом Жуковский пенял Пушкину, что тот действовал, не посоветовавшись с друзьями, убеждал Пушкина писать официальное письмо, в котором он должен «обвинить себя за сделанную глупость», и предупреждал, что иначе он повредит себе «на целую жизнь». Пушкин послушался.

Жуковский, пользуясь своим влиянием и по-своему желая Пушкину блага, снова остался недоволен сухостью

---

<sup>1</sup> Переписка Пушкина, т. III, стр. 142—149.

пушкинского письма с отказом от отставки. Сообщая о якобы благожелательном отношении царя к Пушкину, Жуковский требовал от поэта более сердечного тона. Ответ Пушкина Жуковскому — может быть, одно из самых трогательных и в то же время драматических писем Пушкина. Он писал здесь:... «Идти в отставку, когда того требуют обстоятельства, будущая судьба всего моего семейства, собственное мое спокойствие — какое тут преступление, какая неблагодарность? Но государь может видеть в этом — что-то похожее на то, чего понять все-таки не могу. В таком случае я не подаю в отставку и прошу оставить меня в службе. Теперь отчего письма мои сухи? Да зачем же быть им сопливыми? Во глубине сердца моего я чувствую себя правым перед государем, гнев его меня огорчает, но чем хуже положение мое, тем язык мой становится связаннее и холоднее. Что мне делать? Просить прощения? Хорошо, да в чем? к Бенкендорфу я явлюсь и объясню ему что у меня на сердце — но не знаю почему письма мои неприличны. Попробую написать третье».

Напуганный отлучением от архивов и угрозами испорченной жизни, Пушкин внял «нагоньям» Жуковского и «сухим абшидам» Бенкендорфа и только спрашивал жену: «А ты и рада, не так?»

В своем «Журнале» Пушкин, однако, ограничился одной глухой, совсем не дневникового характера записью: «22 июля. — Прощедший месяц был бурен. Чуть было не поссорился я со двором, но все перемололось. — Однако это мне не пройдет».

Интересов литератора «Дневник» почти не отражает. Редкие записи о Гоголе и себе самом — случайны. К тому же запись о «Пиковой Даме» сделана для того, чтобы констатировать, что при дворе «не сердятся», запись о «Медном Всаднике», чтобы показать произвол того же «двора».

Стоит отметить кстати, что в «Дневнике» Бенкендорф

упоминается только нейтрально и всего два-три раза. Но любопытно, что, если в «Медном Всаднике» Пушкин собирался увековечить официально (в примечании) имена Бенкендорфа и Милорадовича, то последнего почти в то же время в «Дневнике» увековечил совсем иным способом, приведя эпиграмму, заканчивающуюся стихом:

И Милорадовича глупость.

Не можем здесь останавливаться на вскрытии подлинного смысла всех деталей «Дневника». Еще очень многое осмысляется в беглом чтении — проще, более невинно, чем имел в виду Пушкин. Раскройте хотя бы те места, где Пушкин говорит о двух пьесах: одна — «Enfants d'Edouard», другая — «Bertrand et Raton». На какие «применения» глухо намекает Пушкин? В первом случае имелась в виду возможность аналогий с убийством Павла I, во втором — намек на июльскую революцию.

## V

Анализ пушкинского «журнала» 1833—1835 гг. позволяет считать, что он менее всего должен рассматриваться как безобидный дневник, как беспристрастная придворная летопись, отмечающая, на каких балах и раутах бывал Пушкин.

Нет, если при первых публикациях «Дневника» в нем видели всего «дневник семейных городских происшествий» (П. В. Анненков) или «большую часть светские сплетни и ничего более» (В. В. Сиповский), то для нас Пушкин является в нем действительно «русским Данжо», разговаривающим через головы современников с потомками, которые будут иметь возможность и сумеют расшифровать иносказания и понять недосказанное. За скупыми строками, за лаконичными нотабенами — клокотанье живой, негодующей природы поэта.

Можно подумать, что Пушкин вспоминал своего «Бориса Годунова»:

Борис! Борис! все пред тобой трепещет...

А между тем, отшельник в темной келье

Здесь на тебя донос ужасный пишет:

И не уйдешь ты от суда мирского...

«Журнал» Пушкина — один из самых драгоценных, не вполне еще оцененных памятников николаевской эпохи, немногими, но верными штрихами рисующий ее царя, двор, духовенство, цензуру, крепостничество, лихоимство и разврат сановников, самоуправство государственных учреждений, голод крестьян — сквозь позолоту балов и торжеств.

«Журнал» Пушкина вместе с тем — несомненное свидетельство, что Пушкин даже конца 30-х годов во многом остается верным своему либерализму, своим старым взглядам и вовсе не переходит так безоговорочно и целиком, как это порою принято думать, на сторону реакции.

Характерно, что, если не считать записи о «с наглостию проповедуемом якобинизме (Московского Телеграфа)», вызванной личным раздражением Пушкина против Полевого, то нельзя указать в «Журнале» ничего, свидетельствующего об отходе Пушкина на консервативные позиции. Наоборот, подавляющее число его записей, если расшифровать их, бесспорно напоминает фронду юношеских лет, хоть и принявшую форму осторожного, зрелого (но потому и более глубокого) критицизма «русского Данжо».

Немудрено, что этот «Журнал» боязливо-долго хранился под спудом сначала современниками, потом сыном поэта и медленно просачивался в читательские массы по частям. Понятно, что он не сразу был понят...

«Журнал» за последующие годы, несомненно продолжавшийся Пушкиным, прояснил бы еще очень многое.

Слышите ли меня? — словно спросил столетие назад страдавший поэт у будущих поколений.

Слышим.

---

# ПУШКИНСКОЕ ОБЩЕСТВО

---

Серия: „Последние годы  
творчества Пушкина“  
— 1833—1837 —

Вып. II.

---

Л Е Н И Н Г Р А Д  
1 9 3 4